

В сетях шпионажа

Это так фильм назывался — «Сети шпионажа», заграничный, дублированный, его, когда я в младших классах учился, показывали. О чем — совершенно не помню. Помню только, как мы с Лешкой, моим другом по даче, смотрели его сквозь щели в деревянном клубе возле пруда. Можно было, изогнувшись дугой, как-то пристроиться, чтобы увидеть половину экрана. А слова так и так были слышны на полпруда, особенно когда выныриваешь. Но через некоторое время нас засеки и прогнали. Может, потому и не помню.

Но я вообще не о фильме. А о том, что однажды поверил, что мой папа шпион. Правда, не наяву. Спал я тогда. И мне снился сон. Начала его я не помню. Может, не помню и середины. А вот конец помню как сейчас.

То есть, было мне тогда уже лет одиннадцать. А папа только-только купил машину. Небесной голубизны «Москвич-407». С необычным по тем временам решетчатым радиатором. «МОБ 20-64». Видите, и номер застрял в голове. Я еще взобрался на подоконник и орал в форточку с пятого этажа: «А у нас машина! Машина! Машина!»

Правда, никто не слышал. Голубь вот только ходил по карнизу, и тот улетел. Машина была, а ездить папа еще не умел. И вот приходил к нему такой мужик в куртке, как у летчика, широкоплечий, с глазами, которые не вызывали доверия. Инструктор по вождению. В фильмах такие лица, носили отрицательные герои.

Стояла осень, и раза два-три в неделю они садились в машину и уезжали. Пропадали на несколько часов. А как-то раз я видел, как папа дает ему конверт, что-то такое говорит, неискренне улыбаясь, и вид у мужика был такой, как будто вот прям сейчас он пойдет выполнять какое-нибудь уголовно наказуемое задание. Как в телевизоре, по которому тогда крутили то «Судьбу барабанщика»,

то «Над Тисой», то еще какие-нибудь советские фильмы, где шуровали предатели, шпионы и подсоблявшие им мелкие личности.

И вот, значит, снится мне сон. И откуда ни возьмись, вламывается в него этот самый инструктор. Ну, типичная мелкая личность. Стоит в дверях и что-то говорит папе.

А у папы за несколько дней до того под носом набух фурункул. И он перестал брить это место. И у него отросли такие щегольские усики — ни дать, ни взять настоящий шпион из фильма. Или из какого-нибудь рассказа, которые я в ту пору сочинял и записывал в общую тетрадь вместо того, чтобы делать уроки.

Может, только заграничных темных очков не хватало для завершенности образа.

И вот они стоят в дверях и о чем-то разговаривают. И делается мне, с одной стороны, как-то тревожно-тревожно, а с другой — сердце колотится в предвкушении неотвратимой развязки. И я ее жду, эту развязку. А мужик, между тем, исчезает.

Мужик исчезает, а папа в своих неопровержимых усах, чувствую, где-то рядом. И мама, слышу, у меня за спиной.

Звонка нет, но в дверях уже стоят эти трое. И говорят. И выводят на чистую воду. И папа, разоблаченный, склоняет свои усы. И мама сзади слышится: «Как ты мог?!»

И я думаю: «Как ты мог?!»

Но не говорю. Молчу. Только напрягаюсь. И от этого какой-то шум, помехи и совсем неизвестно чего.

Так что не дали мне досмотреть сон. Прогнали, как от того деревянного клуба.

А фурункул у папы быстро прошел, усы он сбрил, и вообще непонятно, чем там все кончилось.

Под колпаком

И еще про шпионов.

Вообще-то до поры до времени я был дико влюбчив. Первую мою любовь звали не помню как, зато хорошо помню ее резинки для чулок. Зеленые такие. Которые спереди и сзади. И они выглядывали из-под юбочки. Ну, в детском саду.

У нас, у мальчишек, кстати, тоже были резинки. Потому что были чулки. Зимой. И на нас надевали лифчики. На живот, под трусы. И от этих лифчиков тянулись резинки. Все время отстегивались. Чулки съезжали, а резинки болтались.

Но наши резинки были только спереди. А у нее еще и сзади. И вот это меня дбило.

Да, Катя ее звали. Катя. Вот лица тоже не помню. Кажется, она была пухленькая. А может, и нет. Резинки и белая кожа.

Катя.

Весь день был в нее влюблен. Хотелось погладить и пожалеть.

Мне, кстати, и еще одну хотелось вот так пожалеть. Но это позже, уже в школе. Учительницу пения, да. Немолодую такую, застегнутую. Всю в черном. Она там чего-то дирижировала, рукой взмахнула, и из-под платья полыхнуло розовое, беззащитное. И вот мне ее тоже жалко стало. Как Катю.

А потом настал мой день рождения. По этому случаю родители созвали своих друзей.

Сначала дарили подарки, во что-то со мной играли, а потом, как водится, я оказался предоставлен самому себе. Сидел за своей ширмой (первые годы мы жили в коммунальной квартире, где у меня был угол — детская металлическая кровать и коврик с оленями на стене), разбираю подарки и думал, как же я безумно влюблен в тетю Иру.

Когда она вошла — румяные щеки, помада, снежинки в волосах — все тут же принялись восхищаться ее новой шубой. Шуба на меня не подействовала. Зато, когда она ко мне наклонилась — меня захлестнула волна чего-то невообразимого, такого, которого не бывает. А когда она выпрямилась — я был уже другим человеком. Я любил, страдал и стеснялся. Поэтому то, что меня оставили наедине с моим чувством, было самое лучшее, что могли придумать эти взрослые.

Итак, я с замираньем сердца думал о тете Ире. Подарки я разбираю для отвода глаз, на случай, если кто-то войдет. И кто-то действительно вошел. Это была тетя Мила. Присела рядом со мной на кровать, подняла юбку и принялась подтягивать чулок. Тут я опять на всю жизнь задохнулся и понял, что на самом-то деле люблю тетю Милу.

Это было невозможно — ведь только что я любил тетю Иру. Я разрывался, сходил с ума, понимал, что так нельзя. И чтобы чуточку в себе разобраться, тихонько вышел в коридор, к вешалке. Тетирина шуба нестерпимо благоухала ею — моей первой и единственной страстью. Одежда тети Милы ничем не пахла. И тут ко мне вернулась утраченная было твердость. Как же я мог?! Я уткнулся носом в шубу, впитывал и впитывал в себя ее запах. Шуба была необычная, составленная из каких-то небольших хвостиков. Чувство мое было столь неутолимо, что я взял и оторвал один хвостик.

Оторвал — и испугался. Что же теперь делать? Осторожно, на цыпочках я прокрался на кухню — слава Богу, там никого не было — и запихнул хвостик в мусорное ведро, прикрыв его сверху чем-то помойным. Когда, старательно обойдя вешалку, я снова вернулся в комнату, любовь уже прошла. Я опять спрятался за ширму и думал, как тетя Ира увидит, что хвостика не хватает. Так, наверное, и уснул, дожидаясь разоблачения.

О хвостике со мной никогда никто не говорил. И чувство мое пропало окончательно и бесповоротно.

Тем более, что появилась Вера Мозговая. Как с неба свалилась, в понедельник, во второй четверти. Красавица! Я прямо видеть ее не мог, хоть под парту залезай. Правда, училась плохо, на тройки. А как-то пришла в школу с огромным бантом. Фиолетовым, полупрозрачным. А глаза голубые, широкие. Прямо во все лицо. Тут я уж совсем не знал, куда себя девать, потный сидел от любви и трясся. А может, не потный, а, наоборот, бледный. В первом классе это было. И вот она в этом банте сидит за партой на уроке чистописания. Прилежно голову так склонила, язычок высунула от усердия. Ну, просто с ума сойти! Прямо это как будто я за нее переписываю букву «О» с доски. Вот тут ровно, а тут нажим, а здесь волосая линия... А к ней тем временем учительница наша подкрадывается, Ева Захаровна, и цап за руку!

— Ты, — говорит, — что это здесь малякаешь?

Так схватила, что чернила в разные стороны. Я в другом ряду сидел, на парту дальше и слева, так прямо своими глазами видел, как клякса шлепнулась на страницу. А она в банте. Тоже фиолетовом — как чернила. И Ева Захаровна нависает. И вот я вижу, как на страницу слеза капнула. Прямо рядом с кляксой. Или даже на нее. Потом другая. А глаз я ее не вижу, потому что сзади сажу. Только представляю, как они наливаются слезами, большие голубые глаза.

До самого изнеможения я любил тогда Веру Мозговую. То есть до изнеможения. Так я про себя тогда это слово слышал и говорил.

А она и не знала.

Так и не узнала, потому что на следующий год родители увезли ее в Новосибирск. А потом и мы переехали. И тут, уже в другой школе, началась Н.Н. Назову ее так, потому что у нее и инициалы такие были — Н.Н.

Началась она с пирожков. В смысле, с моего дня рождения. Но, в отличие от того, о котором я говорил, им не закончилась. Тянулась и тянулась чуть не всю школу, так что с годами на том месте, где в сердце мужчины появляются шрамы, образовалась мозоль.

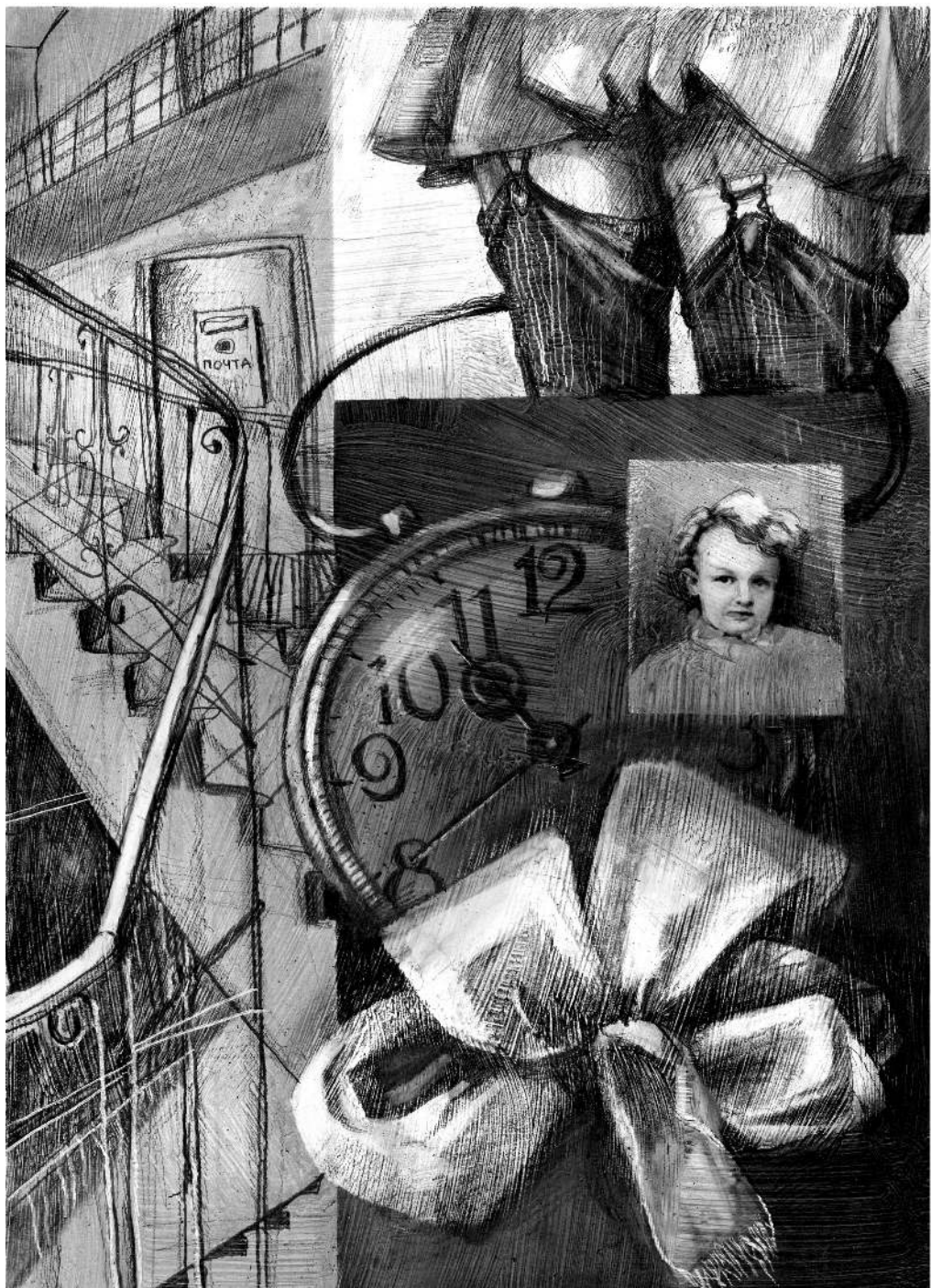
Десять лет мне стукнуло. Какие-то там пирожки бабушка напекла, пришли друзья-одноклассники, чай-шмай, конфеты-пирожные, а когда все кончилось, бабушка подвела итог:

— Как твоя Н.Н. мои пирожки ела! Загляденье! У меня прямо слюнки потекли.

А мама зачем-то добавила:

— А она хорошенькая.

Вот!!! Тут-то у меня в голове и сцикнулось. Наутро я уже был влюблен в Н.Н. до посинения.



Скоро выяснилось, что не я один. Рядом, на одной площадке, жил мой друг Вовка. На класс младше меня. И вот как-то он мне признался, что тоже влюблен в Н.Н. Смачно так влюблен, по-настоящему. Я, говорит, хочу ее всю облизать.

И сопит так прямо мне в ухо.

Ну, а она, ясное дело, ни о чем таком не догадывается. Весна, каникулы, солнце и лужи по всему двору. Хочется сделать для нее что-то хорошее. Тут у нас откуда-то образовался будильник. Кажется, настоящий. А может, игрушечный. Будильник. И еще открытка с тройкой лошадей и с санями. Вот мы и решили сделать ей неожиданный подарок. Так сказать, на паях. Долго думали, что написать на открытке. В конце концов сочинили: «Надя, это тебе за твою доброту. Известные». И отправились пихать сюрприз в ее почтовый ящик — тогда ящики были не в подъезде, а прямо на квартирных дверях, ну, прорези такие для писем и газет. Тихо так подкрались к ее двери, чтобы нас не заметили. А вдруг она сейчас выйдет, а? Конец всему! Но она не вышла. Зато будильник, ну, никак не хотел лезть в почтовую щель.

А открытку мы уже бросили.

И что, интересно, подумал получатель такой открытки? Что и за какую такую доброту ему полагается от загадочных неизвестных?

Этого, понятно, мы никогда не узнали. Вовка как воздыхатель после этой истории быстро завял и выпал из сюжета, а я продолжил в одиночку нести свой крест безответной любви.

Без шпионажа стало не обойтись. Но не сразу. До того, что я задумал, надо было еще дозреть. По крайней мере, перейти в следующий класс, целое лето промучиться на даче, тоскуя по ничего не подозревающей Н.Н., вернуться в Москву, и по новой — улыбку уст, движение глаз ловить влюбленными глазами... и так далее, до бледнетьгаснутьвотблаженство (это я как раз в то лето залпом и не приходя в сознание проглотил «Онегина»). Да, и еще на ее глазах преодолеть превосходящую силу противника, повалив его на землю, получить на ее же глазах несколько раз в ухо, чтобы понять, что собственно ты ей абсолютно по барабану.

И вот тут подвернулся Капрович. То есть подвернулся-то он уже давно, мы корешили (да-да, это слово уже было у мальчишек в ходу еще в те времена) с ним с прошлого года, но тогда он еще не был шпионом. Просто жил себе поживал в большом деревянном доме, перед которым вечно была навалена куча угля. И ходил в кожаном зимнем шлеме, как у летчика, который достался ему от отца — тот погиб в войну, когда таранил вражеский самолет. Так он, по крайней мере, рассказывал, хотя и родился много позже войны, но кого это волновало? И еще у него была мать, вся из себя накрашенная и такая.

И еще он при мне закурил сигарету «Вега». Прямо достал из новенькой плоской пачки, похожей на портсигар, и закурил. Еще фольгу выбросил.

Вот это, как говорится, и послужило. Как там — «Судьба барабанщика»? «Военная тайна»? «Дело Румянцева»? Что тогда было по телевизору?

Капрович-то был мне на фиг не нужен. Мне нужно было внимание Н.Н. А тут сигареты «Вега». И новый какой-то стилижный шарф. И вообще откуда-то у Капровича появились деньги. Откуда? Хвастался и угощал нас томатным соком в вестибюле метро.

Шпион. Или на подхвате. Вот-вот, на подхвате. Кто-то использует его в своих вражеских целях. И надо за ним проследить. Так, чтобы вывести их всех на чистую воду. Шпионов и предателей трудового народа. Не упускать его из виду целый день. Но так, чтобы незаметно. И чтобы обязательно Н.Н. принимала в этом участие. Иначе для чего все?

Так я придумал. Посвятил в это дело своих друзей Гришку и Сеньку. Все на полном серьезе. Улики налицо. Они поверили и загорелись. И я вслед за ними поверил и загорелся.

Декабристы разбудили Герцена, Герцен развернул революционную агитацию.

Капрович ни о чем не подозревал. После уроков мы плотной пионерской толпой двинулись его провожать до дома. По дороге договорились, что в этот день мы будем делать уроки в библиотеке. Но нельзя было оставлять его ни на минуту, и в то же время надо было сходить домой пообедать. Поэтому мы с Гришкой пасли Капровича по очереди — сначала я зашел к нему домой, а Гришка побежал обедать, потом мы поменялись.

В библиотеке нас собралось человек пятнадцать. И Н.Н. была, вот что главное! Все мы не спускали глаз с подозреваемого, который ничего не подозревал. Хотя мог бы оказаться на грани провала. И это был бы момент моего торжества! Потому что Н.Н. ведь тоже ничего не подозревала, просто подчинилась товарищеской дисциплине. В библиотеку так в библиотеку, подумаешь! Это уже потом, когда мы его разоблачим и станет ясно, кто из нас такой проницательный и герой, я подойду к ней и...

Но дальше все терялось в розовой мгле. К тому же Капрович никак не хотел переступить грань провала. И библиотекарьше, Розе Ефимовне, мы уже ужас до чего надоели. Так что уходим, уходим!

А на улице уже были сумерки. Или даже вечер. И дождик заморосил. Послонялись мы, побродили. Опергруппа стала разваливаться. Одной из первых слиняла Н.Н. Потом — помаленьку — другие. В конце концов, остались только Гришка, Сенька, Капрович и я.

А потом только Гришка и я. А потом только я.

И моя неразделенная любовь к Н.Н. Которая так ела пирожки на моем дне рождения.

Ленин и Мисюсь

Отвлечемся на время от страданий юного Вертера.

Тем более, ему еще страдать и страдать.

Перенесемся в то время, когда я еще не знал ни о какой Н.Н. И вообще ходил в другую школу.

...Как же его все-таки, черт подери, звали? Кажется, Саша. Да-да, Саша, и был он невысокого роста (пониже меня), рыжий и слегка картавый. Возможно, эта легкая картавость и была главным, а, может, главным была большого формата ярко-красная книга в картонной обложке, которой так любили («за отличную учебу и примерное поведение», «за лучшие результаты при сдаче норм БГТО»...) награждать младшеклассников, но которая у меня имелась еще до школы.

Откуда? Поди теперь разбери.

Широкие гладкие страницы, крупные буквы, большие четкие фотографии, сводящий с ума аромат типографской краски. Я очень любил листать эту книгу, причем от конца к началу. Вот ОН — великий, взрослый, мудрый. Такой, как надо. А вот ОН в какой-то там кепочке, без усов и без бороды, сразу и не узнаешь, что это ОН, так притворился. Неважно, перед царскими жандармами или передо мной. Но до чего же это здоровски — вглядываться, вглядываться в эти наклеенные брови, подведенные глаза, в эту хитрую, чуть проскользнувшую улыбку — смотрите, как я вас, дураков, провел, — и узнавать, узнавать!

Но еще лучше, еще хлеще узнавать (сейчас я бы даже употребил глагол «провидеть») ЕГО там, где ОН не притворяется, где он — это все равно ОН, только пока еще не совсем, еще чуточку «недо»: в до подбородка застегнутом студенческом кителе, растительность на лице лишь пробивается — ах, до чего ж волшебно замирает сердце, когда в этом чуть проступающем, чуть обозначенном легком пушке провидится твердый рисунок будущей всем известной бородки. Или где он еще гимназист, растительности совсем не видно, зато — глаза!

Единственное, что смущало, выбивалось и казалось лишним — это фотография упитанненького и курчавого карапуза: здесь, сколько я ни тужился, не выходило разглядеть будущего ЕГО. Поэтому фотография злила, я старался ее пролистнуть или вообще до нее не дойти, и сразу же после гимназиста крутить в обратном, то есть в правильном порядке, от начала к концу, к тем фотографиям, где он — это уже точно ОН. Этот процесс был также необходим, хотя сладости и замирания было уже меньше. Однако все искупалось близостью к финалу, к завершению игры, результат которой вряд ли удивлял своей неожиданностью (хоть я, надо признать, пускался на всякие ухищрения, вроде того, что будто бы совсем, ну, ни капельки не знаю, кто этот молодой человек и о ком эта книга), зато всякий раз подтверждал истинность моей любви, которая одна только и могла одарить меня подлинным зрением и заставить видеть в неизвестном — ну, честное слово, неизвестном! — юноше — ЕГО.

Так вот, я уже знал, что в детстве ОН был невысок ростом, рыж и неправильно произносил букву «рэ».

Саша тоже был невысок, рыж и неправильно произносил букву «рэ». В классе он сидел слева и на несколько парт позади меня, то есть где-то в середине среднего ряда, однако при всем том был круглым отличником. И это еще больше сближало его с НИМ, потому что и ОН, конечно же, мог учиться лишь на пятерки.

Вот, вспомнил. Фамилия его была Ройзман.

Со мной что-то происходило. Ни на переменах, ни во дворе мы с ним не играли. С кем-то он, конечно, играл, и где-то, конечно, жил — но было бы совершенно невероятно, чтобы он играл именно со мной или жил бы вот так прямо неподалеку. Когда его вызывали к доске, и он отвечал, оборотясь лицом к классу, я опускал глаза, чтобы он меня не заметил. Когда он что-то говорил с места, я чувствовал, что у меня горят уши. В той бесконечной саге, которую я молчаливо, а иногда и не очень (мама: «Что? Что случилось? Что ты там выкрикиваешь?!») плел за своей шторой, прежде чем погрузиться в сон, персонаж по имени «Сашка» настойчиво вытеснял и Чапаева, и Петьку, и Яшина-Башашкина, и Оле Лукойе.

Сашка мчался на коне, пускал под откос поезда, воевал, защищал бедных, в матче между немцами и партизанами (которые только притворялись, что они тоже немцы) забивал решающий гол, а когда немцы проиграли и все поняли, его посадили в плен, но он оттуда бежал, запульнув в глаза часовому пригоршню табака, а потом оказалось, что ему надо спасти Веру Мозговую, отстреливаясь от белых, и он (а почему — он? Это ведь я, я должен ее спасти! Ладно, это же все равно понарошку, пусть будет он — видите, я даже это готов был ему отдать!) спасает ее, жертвуя жизнью, и вот они уже летят на таком специальном самолете, где по дороге его вылечивают, и Вера Мозговая склоняется надо мной, а я говорю умирающими губами: «Это не я, это он — Сашка...» И она смотрит на меня полными слез глазами, и губы у нее дрожат, как тогда, когда Ева Захаровна поставила ей двойку по чистописанию, а Сашка, обернувшись, наконец-то меня замечает и, положив на плечо руку, говорит: «Спасибо, друг», а я молчу, оттого что умираю, и уже окончательно отдаю ему Веру Мозговую, потому что он невысокий, рыжий, не выговаривает букву «рэ», учится на одни пятерки и от него у меня горят уши.

Хотел ли я с ним дружить? Но что бы я мог ему сказать кроме того, что я думаю о нем как о НЁМ и что он это не совсем он, а вершитель геройских подвигов?

Летом мы снимали дачу в Быково. Моим ближайшим другом на это время становился Лешка Пригожин, хозяйский сын. Мы гоняли на великах, бегали купаться на пруд, изводили его старшую сестру Таньку — в общем, жили летней, совсем немосковской жизнью. Однако по-прежнему перед сном, а иногда и днем, когда меня заставляли «отдыхать», я продолжал плести свою сагу. И вдруг...

Да, это было именно вдруг. Я — на «Орленке», Лешка — на «Школьнике», — мы заехали в соседний поселок. Август, солнце, какие-то ребята орут и гоняют-

ся друг за дружкой на опушке хвойного леса. Кто-то, уворачиваясь от кого-то, кричит: «Пошел на ***!» — и тут я понимаю, что это он, Саша. Только на нем не школьная форма, а обычные, какие-то даже выцветшие сатиновые трусы, и весь он покрыт не столько загаром, сколько веснушками, а нос облупился. И кто-то его толкнул и заржал. И он кого-то толкнул и тоже заржал. И снова выругался. Потом заметил меня.

— Здорово, — сказал он без всякого удивления и тут же повернулся к своим ребятам.

— Кто это? — спросил Лешка, когда мы отъехали.

— Да так. Один. Из нашего класса.

— А что ж вы не поговорили?

— Пошел на ***! — гордо сказал я то ли Ройзману, то ли Лешке, то ли самому себе.

А вечером, перед сном, я снова плел свою сагу. И снова Сашка куда-то мчался, кого-то спасал, от кого-то отбивался.

В следующем классе я его не помню. Может, он перешел в другую школу.

Да и я скоро перешел. А книга куда-то пропала при переезде.

Мисюсь, где ты?